

АНДРЕЙ БИНЕВ

ПЕРГАМЕНТ

ХМУРОГО

УТРА

Трое

Андрей БИНЕВ

Пергамент хмурого утра

«Автор»

Бинев А.

Пергамент хмурого утра / А. Бинев — «Автор», — (Трое)

ISBN 978-5-373-03379-4

«День начинается всегда одинаково тяжело. Утро надвигается раньше, чем хотелось бы и могло. Оно хмурит свои сизые брови и заглядывает в мою бородатую физиономию настороженно и недовольно. Я жмурюсь, претворяясь, будто не замечаю его суровой строгости, но оно, тем не менее, смотрит, смотрит своим недоверчивым немигающим взглядом, и вдруг бьет острым лучом меня прямо в лоб. Как-то мой отец, решившись, наконец, что-то предпринять во имя собственной карьеры, окончательно загубил ее столь же неожиданным ударом в лоб. Мама называла его карьеру «хромым лилипутом». Она не объясняла почему, но, по-моему, слишком зло. О чем это я? Ах, да! Удар в лоб!..»

ISBN 978-5-373-03379-4

© Бинев А.

© Автор

Содержание

«Вольному – воля...»	6
Утки, уточки, утятки...	9
Кантора и канторские	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Андрей Бинев

Пергамент хмурого утра

«Чем глубже вы осознаете свободу, тем меньше ею обладаете»
Джон Фаулз, «Волхв»

День начинается всегда одинаково тяжело. Утро надвигается раньше, чем хотелось бы и могло. Оно хмурит свои сизые брови и заглядывает в мою бородастую физиономию настороженно и недовольно. Я жмурюсь, претворяясь, будто не замечаю его суровой строгости, но оно, тем не менее, смотрит, смотрит своим недоверчивым немигающим взглядом, и вдруг бьет острым лучом меня прямо в лоб.

Как-то мой отец, решившись, наконец, что-то предпринять во имя собственной карьеры, окончательно загубил ее столь же неожиданным ударом в лоб. Мама называла его карьеру «хромым лилипутом». Она не объясняла почему, но, по-моему, слишком зло. О чем это я? Ах, да! Удар в лоб!

Так вот, отец зазвал к нам в дом на обед полковника, какого-то там мелкого кадрового идола, и, перевозбудившись от присутствия столь влиятельной персоны за нашим скромным капитанским столом, неосторожно откупорил бутылку с «Советским» шампанским, вследствие чего жесткая пластмассовая пробка стремительно и громко щелкнула полковника по лысому черепу, как по пустой картонной коробке. А темпераментная бурная пена залила его изумленное лицо, давно уже обесформленное чрезмерным употреблением спиртного, куда менее благородного, чем злополучное папино шампанское. Мама не сдержалась и, ойкнув, захохотала, замахала руками и стала растирать обильные, почти счастливые, слезы по щекам.

Через год папа ушел в отставку в том же скромном чине. «Советское» шампанское ненавидел всеми фибрами своей капитанской души, до самой смерти. Но маму за ту ее бестактность никогда не упрекал. На поминки по отцу пришел тот же полковник, к тому времени, отставник, и пил за тем же столом водку и «Советское» шампанское, когда все уже окончательно забыли, зачем собрались в нашем унылом осиротевшем доме. И даже стали горланить песни об удалом казаке, про калину с малиной и еще черт знает про что. Шампанское, между прочим, полковник и принес. На поминки-то! И к маме прилипал томным взглядом, полным приторной патоки и пряной корицы. «Ах, вдовушка, как прелестно вы смеялись и слезки утирали! Желаете увидеть, как пробка расплющится о мой лоб еще раз? Только намекайте, хохотушка вы моя, и я мигом, мигом... Хоть до смерти!» Мама, может быть, и пожелала бы, но только ее, по-моему, останавливала цена этого застольного конфуза – быть обязанной отставному полковнику, который вряд ли скончается от повторного удара белой пластмассовой пробки в его оловянный лоб...

«Вольному – воля...»

...Моему утру тоже приходится нелегко: оно старательно отыскивает меня по всему большому городу, заглядывая в запыленные оконца подвалов, в слуховые окна чердаков, под кусты в городских парках и в ржавые, будто брошенные старики, троллейбусы в отстойниках на окраине города. Но оно всегда меня находит и всегда при этом хмурится.

Первой просыпается жажда, чуть раньше голода. Она опалает меня изнутри, высушивает губы, язык и даже мои бесцветные глаза. «Пергаментом хмурого утра», называл эту мучительную сухость тела и души один мой товарищ по ранним пробуждениям.

Но главное в моем утреннем кошмаре все же ощущение, с лихвой компенсирующее все другие неудобства – дух беспредельной **свободы**. Ведь оборотная сторона **свободы** – **неволя**, исстачается как раз не из этого, а очень даже от противоположного: с согретой за ночь постели, с бодрящего утреннего душа, с сухой зубной щетки, с утренних новостей, с завтрака неизменной яичницей с беконом со стакана апельсинового сока и чашкой черного кофе со сливками (очень вкусно!), а, может быть даже, еще и с мягкой булочкой или с воздушным круасаном. Заканчивается это развращающее душу и тело утро бряцаньем ключей в замке двери собственной квартиры, мещанской юдоли печали и омертвляющей неги.

Вот это и есть истинная неволя. Это и есть тот самый строгий режим, неумолимый устав цивилизации, внесудебный приговор без временных ограничений и амнистий. А режим – есть не что иное, как жестокая прививка условных рефлексов. Он – цепь, на которой сидит изнеженный человеческий организм. Он – слюнявая фистула в нашем рыхлом слабеющем теле.

А вот вы попробуйте заснуть в сыром подвале под писк крыс и возню мышей! Положите под голову свой невымытый кулак или свернутый вдвое засаленный пиджачок с оборванной подкладкой. Тело само примет естественную для себя позу «эмбриона», и сон придавит вас, как бетонная плита: не успеете сообразить, что к чему, как померкнет ваше не перегруженное пустыми, надуманными заботами цивилизованного мира сознание.

И пробуждение... Черт его побери, это пробуждение с его «сушняком»! ... Крысы уже не пищат и не стучат лапками с острыми коготками во мраке, мыши утомонились и трусливо притихли до вечерних сумерек, откуда-то подло задувает, побаливает что-то под черепной коробкой, будто кровоточащая язва... Словом, тебя оборачивает своим шершавым пергаментом всегда хмурое утро. Скрип и шелест внутри тебя, как вилок по фаянсовой тарелке! И то ведь не кости твои скрипят, не затекшие мышцы, то поскрипывает пергамент, на котором кто-то необъятный, всесильный и неизмеримо жестокий начертал твою судьбу, да еще твоей же жидкой кровушкой. То устав твоей свободы! Ее промежуточная цена, пока, правда, еще не конечная.

А представьте, если накануне вы приняли участие в дружеской попойке или в какой-нибудь мрачной немногословной вечеринке, и не удержались от излишеств! А рядом нет глубокой теплой ванны, нет холодного бражного кваса или острого рассольчика, нет щепоти квашеной капусты с красными клюквенными глазками или крепкого соленого огурчика... Рядом лишь задержавшийся в поздний час гость, имя которого вы не только не помните, а еще и знать не желаете. Тяжелый запах умерших сумерек, скрип пергамента, в который вы завернуты неумолимой жестокой дланью, как вчерашний люля-кебаб в сухой и ломкий несвежий армянский лаваш.

Так вот, цена этому – свобода! Воля! И ничего, что могло бы составить чье-то искаленное цивилизацией, лживое счастье: блестящая карьера раба, долгий мучительный путь под общий надгробный камень! Наивная трусость слабых духом мещан, жалкая иллюзия избранности, пустота несбыточных амбиций. Все равно, как если в городскую баню, в жаркую парилку, полную голых, потных людей, ввалиться в отутюженном белом смокинге. Глупо! Заруби себе

на носу, там всем придется раздеться донага. И не имеет значения, что было на тебе большую часть твоей жизни – гирлянды из бриллиантов, тяжелая цепь орденов, значков и медалек или нанизанные на нить вши! Умерь гордыню, глупый мещанин!

Тебе ничего не утащить в вечность, и даже не разглядеть ее, потому что лишь только ты подберешься к ней, та же жестокая длань закроет твои испуганные, жадные глаза. Все, что ты так вожаделенно тискаешь в своих потных пальцах, лишь блеклая вспышка на фоне черной пустоты. Такой черной, что ты и ее не увидишь! Черной и густой, как моя свобода...

...Есть, правда у этой моей свободы свои небольшие неудобства. Ну, хотя бы то, что ее всегда сопровождают влажные подвалы, душные чердаки, чужие подъезды, обидные пинки, суровые менты и проворные крикливые дворники... Но следует признать, что без всего этого нет и свободы...моей свободы...

Просыпаюсь тут на днях рядом с мусоркой в вонючем подъезде. Как только там люди живут, да еще ведь платят за этот «шанель»! Мне-то что! Вздремнул, да ушел. А им же оставаться!

Так вот, надо мной стоит толстый бородатый очкарик с ведром какой-то бытовой дряни и строго так говорит мне:

– Вставайте! И уходите! – на «вы». Интеллигент. Или трус. Боится, я встану и двину ему по роже. Но я – пьяный, как грязь. Не то, что двинуть не могу. Через губу не переплуну. И я так тоже интеллигентненько, мол, задержался ненароком:

– А который час? Не подскажите?

– Полдевятого, – говорит, взглянув на часы.

И я тоже с понтом левую руку к глазам подношу (не отвык еще!), а там на месте, где когда-то были недешевые японские «котлы»¹, теперь лишь черные неприличные разводы. Он смотрит на меня с жалостью и со страхом. Думает, наверное, как бы самому не угодить когда-нибудь на чужую помойку. Жить-то на своей куда престижней!

Встаю с трудом, вздрагиваю всем телом, как собака какая-нибудь, в ожидании неприятностей и пинков. И начинаю спускаться ниже на пролет, рукой для верности хода придерживаюсь за перила. А потом вдруг останавливаюсь, смотрю искоса на мужика и искренне так спрашиваю (в глазах нет ни тени подвоха, ни капельки смущения):

– А утра или вечера?

Он замирает на мгновение и возмущенно, эдак, с отдышкой:

– Вечера, конечно.

– Спасибо. Так я пойду?

Он пожимает плечами и вываливает содержимое ведра в ненасытную глотку помоешной трубы, в металлический ковш, оттопыренный наподобие губы олигофрена... Разинутая пасть разжиревшего, складчатого, неподвижного туловища самой безобразной из всех цивилизаций во вселенной. Безобразнее некуда, потому что другой не знаю. Боже мой! Как несет от ее заживо гниющего ливера. И надо быть не сварившейся массой в темных, душных, влажных трубах ее кишечника, чтобы не понимать, как патологичен весь процесс поглощения, сварения и клозирования ее продуктов.

И вот этот борогато-очкастый «продукт» не спускает с меня настороженных глаз. Молочный пакет и железная банка из-под собачей жрачки с грохотом летят мимо ковша, на ободраный, грязный линолеум. Он боится, что я таки двину ему по плешивому черепу. Но я делаю вид, что ухожу и, когда слышу, как за ним захлопывается дверь его берлоги, падаю на ступеньки этажом ниже. И все! До утра! До его скрипучего сухого пергаменты.

¹ Уголовный сленг. «Котлы» – часы.

Другое дело – лето! Каждый кустик тебе квартира, травинка к травинке – перина, кочка – подушка, муравьи – соседи, собаки – гости. Рядом речка, на крайний случай, пруд. Вот тебе и ванна, вот тебе – естественная природная кондиция свежего, как сама утренняя заря, воздуха!

В это время важно не болтаться в центре пыльного, невымытого города, где все лесопарковые зоны загажены местными любителями флоры: бумажные обертки, смятые сигаретные пачки, окурки, то бишь «бычки», высосанные аж до фильтра, жесткие, как крысиные какашки. А еще смятые, усталые презервативы... Словом, отрывка цивилизации.

Нет, в эти жгучие, утомленные солнцем и негой, дни, в эти теплые и влажные, пряные как восточные сказки, ночи надо рваться к окраинам увядающего в сомнительном прогрессе и в несомненном развороте мира. Чуть шагнул за кольцевую дорогу – лесополоса, чуть копнул ногой – гриб, легонько эдак раздвинул кустики – ягода. И чем дальше от города, тем слаще она, тем обильнее. Да и менты попроще! Двинут тебе по почкам разок, воспитания и приличия ради, треснут по затылку рукояткой «макарова», и катись себе дальше. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

...Но вот утро здесь такое же, как везде (!) – бьет прямо в лоб, как та пробка из-под шампанского. Скрипит себе старый пергамент...

Утки, уточки, утятки...

Сейчас, собственно, еще и не лето, а лишь сладкое предвкушение его – самый конец теплого и влажного апреля. А вот на Западе, говорят, прохладно. Во Франции и в Швеции идут проливные дожди. Не позавидуешь их бомзам! Мокнут, бедолаги. А местный участковый жандарм (или как их там?), в общем, околоточный Жан или Карл какой-нибудь, лупит изгоя цивилизации лайковой перчаткой по мордасам: не спи на сквозняке, не пей из лужи, это, мол, вредно и опасно для здоровья, не пугай добропорядочных налогоплательщиков, морда твоя бомжовая! И ведь не допускают ихних бомжей², собственно, как и наших у нас, до общего «шведского стола»!

А я себе, тем временем, тихонько сижу на берегу бурой, спокойной, как смерть, речушки в промышленной загородной зоне и внимательно, краем хитрого, опытного глаза наблюдаю за глупым утиным семейством. Очень уж мне нравится уточка-мама! Даром, что плавает она в этой речке, называемой местными емким словом «говнянка». Говорят, таких названий разных городских и загородных акваторий хоть пруд пруди на нашей Родине. Не меньше, чем улиц Ленина или Славного Октября.

Сейчас уточка подплывает ко мне, а я, вроде бы, так, между прочим, от безделья и неги травинку жую, и на нее совсем даже и не поглядываю. Полненькая такая уточка, пышечка сексуальная. Дура, мать ее! Прыгаю в воду прямо в одежде и хватаю ее за ноги! Она орет, рвется... Но не тут-то было! Я ей головенку мигом сворачиваю на сторону и выползаю на глиняный берег. Трусцой бегу к камышам. Там у меня все припасено: ножик, пакетик с солью, полбуханки «орловского», металлический прут с зазубринами (подобрал около заводских ворот – варили заново ограду, а обрезки бросили), горка сучьев и четыре обожженных не мной (то есть еще до меня) кирпича.

Готовлю себе ланч, так как свой «шведский завтрак» я просидел в засаде. Утяточек жалко! Придется их, сироток, завтра сожрать. А потом подамся подальше от этих мест, в далекие, чащобные леса, к пышному мху, душистой влажной земле, сухому валежнику и чистым звонким ручейкам. Сооружу себе шалашик, как у Ильича, и буду ждать поздней осени. А тогда вернусь в город, попадусь ментам и на год в зону, как злостный «безопределенщик» и бродяга. Там хоть кормят, пусть однообразно, пусть концентратами и бедной на витамины пищей, но зато – регулярно!

Каждый БОМЖ лелеет свою мечту, и, как ему кажется, исключительную – перестать им быть! А менты ловят нас, как я мамашу-утку – за лапы. И вот ведь закон какой подлый – вопреки природному! Нет, чтобы полгода давали за наше тяжкое преступление перед обществом, мы бы хоть к теплой весне выходили на волю. А тут ведь впарят год – на те, вам! Опять – зима! Товарищи, кто поумнее, по зонам попрятались, а кто уже и отдал Богу свою беспокойную вольную душу! Бродишь неприкаянно по мерзлым подъездам да по подвалам от утра к утру! Походишь опять до осени, если повезет, а потом снова «отъедаться» на казенные харчи.

Утятинка была бы славной, если бы от жилистого мяса этой пышки не несло нефтепродуктами, имеющимися в избытке в речке «говнянке». Как обманчива внешность! Я об утке. Толстенная, с великолепными соблазнительными формами, а на поверку ее организм отравлен техническими отходами. Нет, не вольная она птица! Уж больно зависима от промышленного цикла местного нефтеперегонного завода. Ну, не сольют там очередную порцию «химии» в ее «говнянную» акваторию, не взбрызнет в ее тонкие вены свой синтетический наркотик под-

² БОМЖ – аббревиатура, принятая в милицейских протоколах. Означает – Без Определенного Места Жительства. В действительности эта аббревиатура неполная. К ней добавляются буквы – ИРЗ, то есть – И Рода Занятий. Таким образом, получается – БОМЖИРЗ.

лая цивилизация! Сдохнет же, как наркоман от «ломки»! Она же, утка эта несчастная, потерпевшая от инцеста ее матери-природы с побочным сыном человеческим, уже давным-давно ближе к двигателю внутреннего сгорания, чем к полнокровному теплому живому организму. А я, кто всем своим существом стремился сохранить в себе, вопреки повсеместному наступлению синтетики, природную девственность, вынужден употреблять в пищу этих мутантов! Это к тому, что посмотришь на нее со стороны – славенькая такая, вроде, как уточка и уточка! И детки у нее, цыпляточки-утяточки славенькие, упитанные, почти, как настоящие!

Да и я ведь, когда отмоюсь, предварительно раздевшись до гола, тоже славненько выгляжу. Как настоящий! Бородка с проседью, шатен без залысин, треснувшие очки когда-то в модной роговой оправе, втянутый живот, в меру поросшая черными курчавыми волосами грудь и длинные мускулистые ноги (обязательное, неотъемлемое качество для моего вольного образа жизни!). Прибавьте к этому мой пикантный возраст – 45 лет и отчетливо отпечатанное на моем усталом лице блестящее образование. Жених, хоть куда!

Так вот, я раздеваюсь и захожу в воду. Уточку-мутантку скушал всю до косточек. На ужин осталось чуть хлеба и много соли. Вот искупаюсь и подумаю о десертном возлиянии. А как же! Привычка обязывает!

Дно на удивление чистое, глиняная жижа. Ни тебе камешка, ни железочки, ни гвоздика. От реки, правда, несет ее названием. Но и от меня за долгие недели сна в подвале несет тем же. Поэтому оригинальные запахи местной речушки меня несколько не смущают.

Мою свое крепкое белое тело, скребу когтями волосы и думаю о том, что после купания надо бы эти когти обрезать ножом, а потом аккуратненько обкусать. А то как-то неловко – с трауром на кончиках пальцев. Мои естественные телесные масла сливаются с радужными масляными кругами, затянувшими, как сетью, всю поверхность речки. Диффузия естества и цивилизации.

Выхожу из воды, протираю мокрыми руками стекла очков и прыгаю то на правой, то на левой ноге, чтобы выдавить из ушей воду. Теперь следует постирать одежду. При таком солнце она непременно высохнет к полудню. Все равно я ее намочил, когда ловил свой ланч...

Тру старые рваные джинсы песком и деревяшкой, которую нашел на берегу. Та же участь достается рубашке, пиджаку и старому плащу. Зато свитер, носки и трусы стираю бережно. Они – редкие в моем хозяйстве предметы. Все остальное еще можно добыть на свалках. Но попробуйте найти там трусы, носки и свитер! А как найдете, сразу в книгу «имени Гиннеса» записывайтесь и требуйте вознаграждения! Такие ценные предметы истлевают раньше, чем доберутся до доступной мне свалки. Да и выбрасываются они лишь, когда достигнут такого состояния, что теряют свои видовые признаки. А как же я их без этих признаков на себя примерю!

Поэтому я стираю белье бережно и даже нежно. Раскладываю весь свой нехитрый гардероб на «солнечной поляночке» и ложусь на еще стылую землю. Говорят, нельзя! Гигантская масса земли вытянет из мизерной массы моего обнаженного тела все тепло вместе со здоровьем и жизнью. А спать в подвале под писк крыс можно? А шамкать по утрам сухой своей пастью позволительно природой? Так что, ничего! Потерпим. Не боимся мы гигантской массы родной планеты! Ежа голой жопой не испугаешь!

Я даже засыпаю, успокоенный, и открываю глаза лишь когда меня в бок пихает милицейский хромовый сапог.

Открываю глаза и через мутные стекла очков вижу смуглое усатое лицо (усы, как у самого Буденного!), черные цыганские глаза, золотой зуб сквозь узкую прорезь губ, и серую ментовскую форму. Чуть позже понимаю, что будил меня не рядовой мент, ненавидящий все человечество за пустоту, зияющую на его мятых погонах, а сам милицейский капитан, пусть с одним, но все же просветом, да еще с мелкими звездочками, сияющими сусальным золотом будто над ночной бесплодной пустыней. Но когда приглядываюсь, замечаю, что романтики ни в этой

фигуре, ни в серой форме нет и в помине. Погоны на его кителе небрежные, мятые, как неизбывная память о его «бесчинном» прошлом, одна звездочка торчит в сторону, явно рвется на волю. На черноволосой его голове лихо заломлена замызганная фуражка с кривой погнутой кокардой чуть левее, чем ей положено сгибаться. Капитан, тем не менее, высокий, ладный. Говорит хриплым низким голосом. Мент чуть старше меня, но поизношен явно меньше.

– Вставай, нудист! – говорит он, намекая на мой неприличный голый вид. – Обнаженная маха...

– Я стирался, начальник! – отвечаю, заискивая и притупляя глаз, чтобы не оскорбить его ментовское достоинство. Тем более, что это достоинство треплется всеми, кому не лень. Чаще всего не лень его начальству. Затачивают под себя!

– Одевайся и гони документ! Подозрительная личность!

Встаю на ноги и быстро одеваюсь в еще влажное тряпье. Прохладно, зябко, некомфортно.

Капитан стоит, широко расставив ноги в начищенных до блеска сапогах, и постукивает себя по ляжке «лентяжкой» – кожаным офицерским планшетом. Он внимательно наблюдает за мной. На всякий случай! А вдруг выхвачу ствол или нож. Времена то беспокойные, можно сказать, боевые. Но у меня нет ни холодного, ни какого-другого оружия.

– Документы там, – говорю я и показываю на камыши, где рядом с пепелищем моего ланча валяется полиэтиленовый пакет с паспортом, справкой об освобождении из казенного дома, кепкой и тремя фотографиями – мать с отцом, жена и сын.

– Ну, пойдем... – устало говорит капитан.

Мы шагаем к камышам. Капитан брезгливо осматривают мою стоянку. И цедит сквозь зубы:

– Сдохнешь же от этих уток, чудак! Они же травленные!

Виновато пожимаю плечами, но не говорю, что мы с уткой – сходные особи. Обе травленные. А значит, вреда друг другу принести не можем, за исключением того, что я ее могу сожрать, а она меня нет. Но это, как говорится, естественный отбор, внутривидовой.

Капитан рассматривает мои бумаги. Имя, фамилия, отчество, число, месяц и год рождения, национальность и все! Ни тебе адреса, то есть «проколки», как говорят в нашей видовой среде, да и в их, ментовской, тоже так выражаются, ни тебе «синяка» о счастливом браке, ни каких-либо следов о притаившихся наследниках, ни «военнообязанности» перед нашей общей державой. То есть нет ничего такого, за что мог бы зацепиться и успокоиться зоркий глаз милицейского капитана.

Зато есть справка об освобождении со всей моей драматичной историей. Капитан довольно причмокивает и сдвигает фуражку на затылок.

– Мда, – тянет он. – Герой, как я погляжу. У «хозяина», правда, давно не был. А эту ошибку надо бы исправить. Подписочку то о выезде из столицы и ее окрестностей давно не отбирали?

– Угу, – урчу я куда-то в глубину себя.

– Когда приехал?

– Вчера, командир.

– Откуда?

– Из Брянска. – леплю «горбатого» наугад.

– А билетик?

– Так я ж его выбросил...

– Врешь, сволочь. Ты зверь опытный. Если бы вчера приехал, то точно бы билетик сохранил. И еще три дня бы берег, как зеницу ока. Пойдешь со мной. В контору.

Делать нечего. Жаль, что утятки так и будут мучаться без мамы, да и свой завтрашний ланч тоже очень жалко. Сейчас приковыляем в отделение, там заставят убрать двор (в лучшем случае, а то и вонючий клозет!), намалюют пальцы типографской краской, жирной, как ути-

ная шкурка, ляпнут ладонями на разлинованный лист дактилоскопической карты и заполняют скучную поганую анкету. А после всего этого еще и отберут первую из двух подписок о выезде в трехдневный срок из Москвы и области. Хорошо, если накормят или хотя бы дешевым чаем напоют, а то ведь так и выкинут, как кота на помойку. Дельце же это сшитое и утвержденное местным начальством отправят в центральное бюро и, если я через три отпущенных мне дня, попадусь где-нибудь вновь, то весь процесс повторится (от клозета до подписки). Третьей подписки уже не будет. Как только меня достанут еще через три дня, то оба этих дела свезут в суд, а к тому времени туда доставят и меня. Судья, лица которого я даже не запомню, впаяет мне годик общего режима, и все лето я проведу в очередной голодной зоне. Но есть опасность, что еще чего-нибудь пришьют. С них станется! Во, перспективка! Поспал, называется, на свежем воздухе.

Контора и конторские

Приходим в местный форпост законности и правопорядка. Все как везде – мутное стекло, за ним старый вечный старлей с тяжелыми мешками под бесцветными глазами, телефонные звонки и зуммеры, шарканье ног и инфантильное веселье молодых и темпераментных, как жеребцы, ментов, мат-перемат из-за стекла дежурного и в ответ тот же сленг из «обезьянника» – барьера с решеткой до потолка. Здесь сидят те, кто не смог устоять на воле. Сюда меня и определяют, предварительно вытряхнув все из карманов и отобрав полиэтиленовый пакет. Считают деньги – сорок один рубль пятьдесят четыре копейки.

– Кого привел, Огороков? – устало спрашивает старлей моего капитана с вкусной и пошлой фамилией.

– Бродягу. Сейчас я тебе рапорт. – отвечает Огороков и исчезает куда-то за угол, из «обезьянника» не видать.

Я ощупываю всеми чувствами плюс неким шестым, которого нет у тех, кто по моей тропке никогда не крался, пространство вокруг себя и обнаруживаю таких же «чердачников», как и я. В нашем обществе даже одна увядающая дама, рыжая, неопределенного возраста, морщинистая, как законсервированный в спиртовой банке эмбрион. Она смотрит на меня, улыбаясь щербатым ртом, и кокетливо подмигивает:

– Надя.

– Очень приятно, мадам. – отвечаю я.

– Тебе чего! – шипит на меня крепкий старик, от которого воняет так, что даже у меня, закаленного бойца, перехватывает дыхание. От такого запаха можно запросто забеременеть, как сказала моя бывшая супруга, когда мы с ней, еще в той, другой жизни, примеряли мне костюм в универмаговской примерочной. До меня, видимо, это здесь делал, если не тот же дед, то уж наверняка, его близкий родственник. Ведь не могла же там в примерочной спать до нас собачья стая!

– А чего я? – неопределенно отвечаю. Опыт подсказывает мне, что в моем тоне не должен копошиться унижительный страх или рычать собачья агрессия. Кто знает, что нам еще придется делить с этим вонючим дедом?

– Это – моя баба. Не тронь! – тем же выжидательным, ощупывающим обстановку тоном отвечает дед.

– Нужна она мне, твоя «Надя – Глаза Сздая». – примирительно отвечаю я.

Знакомство состоялось. Все довольны. Надя тоже – ее заметили и даже привычно окрестили. Эх, женщины! Они и в «обезьяннике» женщины. Все бы им внимание, все бы им услышать грохот рогов сцепившихся за них самцов. Одно слово – дамы!

Остальные обитатели нашего общего временного дома, а их к этим двум еще трое, держат себя скромно и наблюдательно. Я сажусь на пол, так как места на узкой лавке заняты. Один из «чердачников» подвигается и показывает мне на место рядом с собой. Но я не поднимаюсь. Нельзя! В нашем мире свои законы: какое место занял, такое и береги до последней капельки крови, до зеленых соплей и клочка волос. Не бери чужого, не принимай подачек. Это – мышеловка! Я отрицательно качаю головой и отворачиваюсь в сторону. Чувствую спиной – уважают. Свой орел залетел! Не фраер.

Слышу разговор между двумя «чердачниками». Они шепчутся, но здесь тесно и от меня не ускользает ни единого слова. Ребятки эти тоже правила знают. Никогда не говори на ухо при всех, не притрагивайся губами к ушной раковине своего слушателя, а то заподозрят, что вы педерасты. А это – уже беда! Не отмоешься. Те, кто прошли зону (не по году за «чердак»), умеют говорить так, что посторонний не услышит. Надо лишь чуть заметно шевелить губами, не издавая ни звука. Собеседник лишь смотрит в рот, и отвечает также беззвучно. Это – выс-

ший пилотаж. Тут, как говорится, не наболтаешься. Только самое главное, самое необходимое! Попробуй-ка, профильтруй свои спутанные мысли, сложи из них нужные беззвучные слова. Искусство! Что! Болтуны, фраеры, писатели, дикторы, поэты! Завидно?

Эти «чердачники» говорить так не умеют. Поэтому я все и слышу.

– Утюжком его пригладили и бабки увели.

– Менты лютуют. Народу перетаскали! Меня второй раз уже. Ну, знал я Константина, что ж с того!? Он всех поил, всех угощал. Что ж мы его всей стаей и гладили утюжком? Загадочные они, эти менты!

Ага, соображаю, все совсем не так, как я думал. Не очень-то их здесь интересует мой брянский билетик. Об алиби меня этот Окорокков спрашивал, оказывается.

У нас своя школа. Учит вникать в суть раньше, чем суть вникнет в тебя, с болью. Умей собрать информацию, будь, можно сказать, опытным «советским разведчиком». Слушай больше, говори, если не меньше, то уж то, что следует. И, главное, знай чего ни в коем случае нельзя говорить.

А «чердачники» продолжают, возбуждаясь темой. Один из них шипит уже так, что вечный старлей не слышит лишь потому, что сам орет в телефонную трубку что-то, пачкая свою речь прилипчивым междометием «бля». Убежден, он так везде говорит, всегда и со всеми. Он не слышит ушами собственного «бляканья», а только чувствует во рту его грязный, липкий, как бурая глина, привкус. От этого у старлея в груди, под кителем, тревожно сжимается глухое и глупое сердце. Вроде как очнулся ото сна, а стоишь голым перед приличной публикой. «Бля», да «бля», и никак не остановишься, ничем гениталии свои не прикроешь. Только фуражку на лоб поглубже надвинешь и зло сожмешь кулаки.

– Они, менты-то, говорят, мы против вашего белого террора свой красный организуем. Против нас, значит, контриков. Пока, мол, душегуба не сдадите... – жалуется на жизнь один из «шипящих».

– Да чего они, Санек! Этот толстый, который меня во второй раз сюда притаранил, руки свои потирает: найти бы, говорит, того санитаря природы, который Константина разгладил, и наградить его орденом. Не знали, куда от этого пропойцы деться. А сами орут: террор на вас, террор...!

Тяжело вздыхает третий «чердачник», который все время молчит и печальными глазами из-за увеличительных стекол очков смотрит в рябющую пустоту решетки. Тоской и болью веет от этого человека. Нет у него ни имени, ни возраста, ни лица, ни особых примет. Он – будто тень от всех нас – от больших и от малых, безумных и хитрых, пьяных и трезвых. Серая, забытая судьбой тень. Молчит себе в углу за решеткой, и не изгнать ее, не дать ей волю. Я боюсь таких больше, чем всей нашей уголовной «отрицаловки» вместе взятой. Они – молекулы, вылетевшие из наших судеб и сбившиеся в одно мутное облачко. И вот сидит это облачко и тяжело, будто дух бесплотный, давит на плечи. Укор, который не видят и не ценят лишь менты.

Я призадумываюсь, гоню прочь от себя эту неизбывную печаль, которая приходит ко мне всегда под вечер в камере. Утром или в обед никогда еще не приходила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.